



Leonid Yuzefovich was born in 1947 in Moscow, but spent his childhood and youth in the Urals. He graduated from the history faculty of a university in Perm and then became an officer of the Soviet Army, serving in Buryatia and Mongolia. His experiences of that time led him to develop an interest in Mongolian history and Buddhism. Since 1984 he has been living in Moscow.

A doctor of history, he worked for many years as a school history teacher. He started to write late in life. He is the author of the novels 'Prince of the Wind', 'Rough Riders', 'Kazaroza', 'Cranes and Dwarves' and others, the historical-documentary books 'An Ambassador's Road' (about Russian diplomatic etiquette of the XVI-XVII centuries) and 'Sovereign of the Wilderness' (a biography of R. F. Ungern von Sternberg, who, in 1921, drove Chinese troops out of Mongolia), and also the scripts of a few story films. Four of his novels have been adapted for cinema. His books have been published in Germany, France, Poland, Italy, and Spain, while the short stories 'The Butterfly' and 'The Storm' have been translated into English. He is the winner of the 'National Bestseller' prize (Russia, 2001), the 'Big Book' competition (Russia 2009), and the 'High Calibre' prize (Poland, 2007).

The storyline of the novel 'Cranes and Dwarves' (2009) unfolds in three settings: today's Mongolia, in the Russia of 1993, and the 17th century. In all three parts, the main character is a trickster or impostor. There is essentially one hero in three different guises. The primary aim of the novel is to demonstrate that a person is very closely limited by their own 'self', that the concept of an invariable human individual is highly relative, and that all of us, people of different nationalities, either living now or in the past, overlap into one another. In times of social unrest and epochal change, which in Russia's case took place in the early '90s, this ability of a person to be two-faced manifests itself all the more clearly. It is not a coincidence that one critic wrote that 'Cranes and Dwarves' is 'a roguish novel with Buddhist motifs'. It is important for Russia first and foremost because the period around the fall of the USSR is presented therein not as a unique occurrence, but rather incorporated into a series of similar events in world history.

Text 1: Журавли и карлики (отрывок)

На днях стало известно, что одной новой газете для семейного чтения требуется серия исторических очерков с криминальным уклоном. По слухам, платили они честно. Шубин позвонил, ему назначили встречу в редакции. Он прибыл минута в минуту, но тех, с кем договаривался по телефону, на месте не оказалось. Секретарша сказала, что ушли обедать. Вернулись они часа через полтора. Это были двое юных гуманитариев, годившихся ему в сыновья, Кирилл и Максим. Оба с удовольствием рассказали о себе. Кирилл писал диссертацию по герменевтике Георга Гадамера, Максим доучивался в МГУ. Темой его диплома были восточные мотивы у Андрея Белого: чума, монголы, эфиопы. От обоих крепко пахло пивом.

Выяснилось, что им нужна уголовщина Серебряного века, основанная на архивных документах, но со стильными убийствами и половыми извращениями. Взамен Шубин предложил очерки о самозванцах. Идея прошла со скрипом. Не коммерческий потенциал они сочли сомнительным, тем не менее согласились попробовать. Для него это был компромисс между желанием заработать и этикой профессионала, для них – между веяниями времени и жалостью к автору, по возрасту не способному встать вровень с эпохой. Время переломилось круто. Совсем недавно Шубин считался мальчишкой, а теперь ему постоянно давали понять, что в свои сорок два года он – старик.

Расцвет всенародного интереса к истории пришелся на горбачевскую эпоху и минул вместе с ней. Для Шубина это были счастливые годы. Он уволился из института и неплохо зарабатывал, снабжая газеты и журналы сообщениями о неизвестных широкой публике фактах или статьями с новым взглядом на известные. Биографии, календари памятных дат, архивные материалы разной степени сенсационности расхватывались на лету, в угаре успеха он не заметил, как его отнесло в сторону от магистрального течения жизни.

Сначала резко упали в цене красные маршалы, за ними – эсеры и анархисты, по которым Шубин специализировался с начала перестройки. На смену житиям революционных вождей, загубленных усатым иродом, пришли благостные рассказы о трудолюбивых и скромных великих князьях с их печальницами-женами, не вылезающими из богаделен. Правдолюбцев без царя в голове вытеснили мудрые жандармские полковники и суровые рыцари Белой идеи, чаще склонявшиеся над молитвенником, чем над оперативными картами, а эти борцы за народное счастье в свою очередь уступили место героям криминальных битв.

В дыму от сгоревших на сберкнижках вкладов исчезли искатели золота КПСС. Сами собой утихли споры на тему, появится ли в продаже сахарный песок, если вынести тело Ленина из мавзолея. Курс доллара сделался важнее вопроса о том, сколько евреев служило в ЧК и ГПУ и как правильно их считать, чтобы получилось поменьше или побольше.

С прошлой зимы Шубин пробавлялся случайными заработками, да и

те выпадали все реже. Серия очерков о самозванцах была подарком судьбы среди сплошных неудач.

Начать он решил с Тимофея Анкудинова, мнимого сына царя Василия Шуйского. Этот человек волновал его с доперестроечных времен, с тех пор, как на ночном гурзуфском пляже впервые услышал о нем от бородатого питерского аспиранта-историка, бродяжившего по Крыму с ручным вороненком на плече и двумя прибившимися к нему в Ялте столичными антропософками, которые из идейных соображений загорали без лифчиков, а купались только голыми.

Когда-то Шубин думал написать об Анкудинове статью для "Вопросов истории", материал был собран. Популярный очерк – жанр куда более незатейливый. Он нашел папку с выписками и замолотил по клавишам своей "Эрики". В его положении о компьютере нечего было и мечтать.

Анкудинов родился в 1617 году в Вологде. Его мать звали Соломонидой, отца – Демидом, других детей у них не было. Отец торговал холстами, но позднее перешел в услужение к архиепископу Варлааму, владыке Вологодскому и Великопермскому, и вместе с семьей поселился у него на подворье. Владыка обратил внимание на способного мальчика, приблизил его к себе, в шестнадцать лет женил на своей внучатой племяннице и определил писарем в вологодскую "съезжую избу". Там под началом дьяка Патрикеева он быстро дослужился до подьячего. Когда Патрикеева перевели в Москву, тот взял Анкудинова с собой и пристроил на службу в Новую Четверть – приказ, ведавший казенными питейными домами.

Место было благословенное, сюда стекались колоссальные суммы из царевых кабаков и кружал со всей Руси. Наличку с мест привозили медью, при пересчете ее на серебро умный человек никогда не оставался внакладе. Принцип двойной бухгалтерии еще не был известен, финансовые документы составлялись в одном экземпляре. Опытному подьячему не стоило труда подчистить, а то и подменить опись. Тогдашний аудит сводился к допросу свидетелей и графологической экспертизе, но Анкудинов научился так виртуозно подделывать чужой почерк, что никому в голову не приходило заподозрить подлог.

Перед юным провинциалом открылась масса возможностей, круживших ему голову. Деньги сами шли в руки. Доставались они легко, с такой же легкостью он их прогуливал, не думая о завтрашнем дне, но затем взялся за ум, купил дом на Тверской, рядом с подворьем шведского резидента, и переехал туда со всей семьей. Его сын через забор дразнил шведов "салакушниками" и "куриными ворами", за что был выпорот по жалобе посольского пристава. Тогда же Анкудинов начал вкладываться в торговые предприятия, входя в долю с купцами, ездившими за границу. На вино и зерно тоже хватало. Семья перепадало чем дальше, тем меньше. Жена и прежде не упускала случая поставить ему на вид, что всем в жизни он обязан ей и ее дяде-

архиепископу, а теперь принялась поминать об этом каждый день, с воплями и слезами. Она требовала от него сидеть вечерами дома, не пить, не гулять, содержать ее вологодскую родню, а оставшиеся деньги отдавать ей на хранение. Анкудинов все чаще стал ночевать на стороне, иногда неделями не появляясь у себя на Тверской.

Поначалу он имел страх божий, но с годами осмелел, утратил чувство меры, как в то время называли инстинкт самосохранения, и в один прекрасный день с ужасом обнаружил, что утаить грех невозможно. В отчаянии он бросился к купцам-компаньонам, те показали ему дулю. Чтобы покрыть растрату, пришлось занимать деньги в разных местах и под большие проценты. Возвращать было нечем, кредиторы потянули его в суд. Часть долгов Анкудинов заплатил, для чего опять запустил руку в приказную кассу, но латать этот тришкин кафтан с каждым разом становилось все тяжелее. На службе надвигалась ревизия, заимодавцы грозили тюрьмой. Самым безжалостным из них оказался его кум, подьячий Посольского приказа Василий Шпилькин. Выезжая с посольствами в Европу, он брал с собой низкосортный пушной товар, не подпадавший под закон о казенной монополии на торговлю мягкой рухлядью, и там сбывал его с огромными барышами. Члены дипломатических миссий пользовались правом беспошлинной торговли, на этом и взошел его капитал, умело преумноженный ростовщицеством. Напрасно Анкудинов взывал к его милосердию, Шпилькин был неумолим.

Архиепископ Варлаам давно умер, отец тоже лежал в могиле, а мать Соломонида провдовела недолго. Она снова вышла замуж и на просьбы сына продать дом и хозяйство, чтобы помочь ему в беде, отвечала отказом. Ждать помощи было неоткуда, впереди маячили кнут и Сибирь. Анкудинов решил бежать за границу, в Польшу.

Собираясь в дорогу, он прихватил с собой бурый камешек размером с перепелиное яйцо, неприметный на вид, но хорошо известный докторам и алхимикам. Это был чудесный камень *ба твар*, имеющий "силу и лечбу великую от порчи и от всякой болезни". Такие камни раз в сто лет находят в коровьих желудках. В свою счастливую пору Анкудинов выиграл его в зернь у пьяного лекаря-немца из Кукуйской слободы и отказался вернуть хозяину, когда наутро, проспавшись, тот хотел выкупить назад свое сокровище. Позднее, загнанный кредиторами, он пытался его продать, но того лекаря не нашел, а другие или не знали *ба твару* настоящей цены, или норовили купить обманом, по дешевке. Анкудинов думал сбыть его за границей. Он полагал, что обманщиков там меньше, чем на Москве, а образованных людей больше.

Той осенью ему исполнилось двадцать шесть лет. Его дочери шел десятый год, сыну – четвертый. Вечером накануне побега он отвел обоих детей к сослуживцу по имени Григорий Песков, под каким-то предлогом оставил их у него ночевать, а сам вернулся домой, вызвал к заплоту дежурного пристава при жившем через забор шведском резиденте и, стоя перед ним в одной рубахе, матерно попенял ему, что

не может уснуть, потому что на дворе у шведов собаки громко брешут. Пристав хорошо запомнил этот разговор.

На исходе был сентябрь 1643 года. Ночи стояли непроглядные, беззвездные, но дожди еще не зарядили, после июльских гроз бабье лето выпарило из бревен всю влагу. В глухой час задолго до рассвета Анкудинов с четырех сторон подпалил собственный дом, предварительно обложив нижние венцы соломой, и скрылся. В набат ударили, когда огонь уже охватил крышу. К счастью, ветра не было, даже ближайшие усадьбы удалось отстоять.

Дознание проводил концовский староста, на нем пристав показал, что сосед с вечера лег спать у себя в избе и, значит, тоже сгорел. Где в ту ночь находилась его жена, осталось неизвестно. Впоследствии утверждали, будто Анкудинов запер ее, спящую, в горнице и сжег дом вместе с ней, но эта официальная правительственная версия вызвала недоверие уже одним тем, что активно использовалась в попытках вернуть беглеца на родину. Предъявляя ему обвинение в женоубийстве, московские эмиссары за рубежом требовали выдать его как преступника уголовного, а не политического.

К обеду Шубин настучал три страницы, но были сомнения, верно ли выбран тон. Он позвал жену и вслух прочел ей написанное.

– Слишком академично, – сказала она. – Как-нибудь свяжи все с сегодняшним днем, а то они тебе меньше заплатят.

Шубин поинтересовался, как она себе это представляет.

Жена взяла со стола чистый лист и вышла с ним в кухню. Минут через десять вернулась, молча подала ему листок и застыла в ожидании приговора. Лицо ее еще туманилось недавним вдохновением.

"Все мы помним, – прочел Шубин, – сколь изощренной бывала наша пропаганда в тех случаях, если сверху поступал заказ оклеветать человека, бежавшего за границу. Его обливали грязью и обвиняли во всех смертных грехах, лишь бы настроить против него общественное мнение на Западе".

– Не нравится? – упавшим голосом спросила жена.

Пришлось признать, что написано неплохо. Она приободрилась.

– Вставь это после истории про его жену.

Шубин обещал, но, как только за ней закрылась дверь, сунул листок в кипу черновиков, которые подстилались в мусорное ведро вместо газеты. Газет они теперь не выписывали.

Недостаток аллюзий удалось возместить картиной ночного пожара. Гудело пламя, столбом поднимались к небу огненные брызги, пылающие головы разлетались по Тверской. К утру дом превратился в груды углей, даже медная посуда расплавилась от страшного жара. На пожарище копались разве что нищие, а они человеческих костей не искали. Анкудинов на это и рассчитывал. План строился на том, что его сочтут сгоревшим до зольной трухи, обратившимся в пепел.

"Чтобы перевоплотиться в царевича из рода Шуйских, он должен был стать не беглецом, а мертвецом", – отстучал Шубин последнюю фразу и пошел обедать.

На первое был овсяный суп, на второе – полбаночки детского мясного питания с гречневой кашей. Дефицитная в советское время гречка свободно продавалась в магазинах. Соседка с восьмого этажа, сторонница реформ, умело использовала этот разящий факт в полемике с шубинской тещей. Они вели ее во дворе, выгуливая внуков.

Вечером Жохов перезвонил.

– Ты тогда у Гены рассказывал про монголов, – начал он без предисловий. – Можешь достать монгольскую юрту?

Шубин удивился, но не очень.

– Зачем тебе?

– Понимаешь, у меня тут обрисовался человек из Ташкента, отдает партию узбекских халатов под проценты с продажи. Практически без предоплаты. Берем их, гоним в Ниццу, ставим юрту на Лазурном Берегу и торгуем из нее этими халатами. Ночуем в ней же.

– Юрта монгольская, а халаты узбекские, – сказал Шубин.

Жохов отреагировал мгновенно:

– Да кто там разберет!

По нынешним временам идея была не самой экстравагантной. Теща все время подбивала Шубина подумать о семье и что-нибудь возить на продажу туда, где этого нет. Ей казалось, что нигде, кроме Москвы, нет ничего хорошего, задача сводилась к выбору любого пункта на карте, исключая Ленинград, и любого товара, доступного семейным финансам.

Все вокруг хотели что-то кому-то продать. Недавно соседка с десятого этажа, в прошлом балерина Большого театра, предлагала купить у нее полтора километра телефонного кабеля, лежавшего на заводском складе где-то под Пермью. Она пыталась соблазнить им всех соседей. Жена так долго объясняла ей, что им это не нужно, что почувствовала

себя виноватой.

Шубин стал прикидывать, к кому можно обратиться насчет юрты.

– Ну что, достанешь? – спросил Жохов.

– Попробую. Позвони денька через два.

Он обещал, но не позвонил.

Утром Шубину позвонили из редакции.

– У меня для вас две новости, – сообщил Кирилл, – хорошая и очень хорошая. С какой начать?

– Давайте по нарастающей.

– Во-первых, вчера я переговорил с главным, он – за. Сказал, что это будет у нас долгосрочный проект. Во-вторых, вам выписали аванс, надо сегодня же его получить.

Шубин сорвался и полетел. Жена проводила его в дверях, потом перешла к окну в кухне и, пока он не свернул за угол, смотрела ему вслед. Ее халатик пастельным пятном проступал за немытыми стеклами. Шубин знал, сейчас она собирает всю свою энергию, чтобы помочь ему в его делах. В такие моменты она всегда собирала энергию в пучок и мысленно присоединяла ее к его собственной или посылала туда, где решалось что-то важное для их семьи.

В бухгалтерию пошли вместе с Кириллом. Там он сразу притих и все время, пока шла процедура выплаты, не подавал признаков жизни. На лице у него читалось чувство неискупимой вины за собственную никчемность, с каким когда-то сам Шубин, юный литсотрудник областной комсомольской газеты, наблюдал работу сталеваров в горячем цеху.

Он расписался в нескольких ведомостях, но получил только то, что значилось в последней из них. Кирилл глубоким кивком удостоверил правильность выданной ему суммы. Это было меньше, чем надеялся Шубин, но больше, чем думала жена. Она всегда предполагала худшее.

Раньше он немедленно побежал бы за бутылкой, чтобы прямо в редакции отметить гонорар, но теперь этот ритуал утратил свою обязательность. При Брежневe все те, кто его печатал, считали себя его благодетелями, при Горбачеве – единомышленниками, сейчас – работодателями. Последнее не предусматривало личных отношений.

На улице Шубин нашел таксофон и позвонил жене. Она волновалась, что в последний момент денег все-таки не дадут. Звонить ей из редакции не хотелось, чтобы не показывать Кириллу с Максимом, как важен для него этот аванс. За прошлый год жизнь объяснила ему разницу между бедностью и нищетой. Разделявшая их черта была расплывчата, как в годы его юности монголо-китайская граница в Гоби, человек сам определял, по какую сторону от нее он находится. Бедность превращалась в нищету, когда не хватало сил ее скрывать.

– Сколько они тебе дали? – спросила жена.

Он назвал цифру.

– Ты говорил, что дадут больше, – напомнила она.

Ее собственный прогноз в расчет не принимался. Из всех ситуаций она безошибочно выбирала ту, в которой можно почувствовать себя несчастной.

Было около двух, но в большинстве магазинов обеденный перерыв уже отменили. Слишком высоки были ставки в этой игре, чтобы на целый час выходить из нее средь бела дня. С приятным сознанием своей платежеспособности Шубин прошелся по ближайшему гастроному, ничего не купил из опасения расстроить жену, не любившую непредусмотренных трат, и на углу сел в трамвай с 27. Его бесконечный маршрут давно собирались разбить на два, чтобы пассажиры платили двойную цену, но теперь это стало неважно, талоны все равно никто не пробивал. Редкие контролерши опасались связываться с озлобленными мужиками и взымали штраф преимущественно с женщин, и то самых тихих и безответных. Правда, в последнее время за эту бросовую деланку взялись шустрые парни, работавшие не в одиночку, а группами. Они одновременно вваливались в вагон, перекрывая все выходы и продвигаясь друг навстречу другу, как при облаве на евреев в оккупированной Варшаве. Их рвение говорило о том, что выручку эти ребята делят между собой.

До дому ехать было около получаса – жили за Верхней Масловкой, между Эльдорадовским тупиком, улицей 8-го Марта и обширными плантациями районной станции юннатов, ныне заброшенными, с мертвой оранжереей, где обитали бомжи. За первые десять минут Шубин лишь однажды услышал стук компостера, хотя люди входили на каждой остановке.

В начале перестройки академик Лихачев сказал, что всякий ездивший в трамвае и покупавший билет несет долю ответственности за преступления коммунистического режима. За преступления нынешней власти Шубин не отвечал, поскольку ездил зайцем. В бумажнике у него вторую неделю лежал один неиспользованный талон, но пробить его следовало не раньше, чем появятся контролеры. Когда трамвай останавливался, он заранее всматривался в лица будущих пассажиров,

пытаясь угадать среди них вероятного врага.

Рядом сидел мужчина в кроличьей ушанке, с привинченным на груди, прямо поверх китайского пуховика, бело-голубым пединститутским ромбом. Он что-то бормотал, ни к кому не обращаясь, но вином от него не пахло. В ту зиму таких людей было много.

Вдруг он вполне членораздельно произнес:

– Три короля из трех сторон решили заодно...

И замолчал, выжидающе глядя на Шубина. Тот, как мог, продолжил цитату:

– Сгинь ты, Джон Ячменное Зерно!

– Пророчество о Беловежском соглашении, – доброжелательно объяснил этот педагог и, как ребенок, стал дышать на грязное трамвайное стекло, протирая его рваной перчаткой.

Дома Шубин опять сел писать свой очерк. Сын был в садике, за стеной тренькали на рояле. Жена занималась с очередным учеником.

– Тьям-пам-пам! Тьям-пам-пам! – артистично подпевала она, задавая темп и одновременно призывая к легкости, радости жизни, свободе.

На крышке рояля лежала доставшаяся ей от бабки настенная тарелка с эмалью. Рисунок изображал Геркулеса, разрушающего пещеру ветров. Сюжет становился все актуальнее. Наивный герой полагал, что освобожденные им аквилоны и бореи благодарно примутся вращать мельничные крылья и надувать паруса кораблей, а они с воем разлетелись по миру, сея ужас и смерть. Под Новый год жена носила эту тарелку в антикварный магазин и со слезами принесла обратно, оскорбленная предложенной суммой. Ученик, его мама или бабушка перед уходом клали в нее триста рублей. При Горбачеве урок стоил десятку, что примерно равнялось нынешним пяти-шести сотням, но запрашивать такую цену было опасно, желающие учиться игре на фортепиано убывали с каждым сезоном. Когда-то в учениках у жены числились правнук наркоминдела Чичерина, внучка министра среднего химического машиностроения и дочь одного из брежневских референтов, а сейчас приходилось заниматься с соседскими детьми, да еще и хвалить их ни за что, чтобы не разбежались. Потомки сильных мира сего с музыки перешли на теннис.

– Теперь то, что ты выучил маме на день рождения, – сказала за стеной жена.

Зашелестели ноты, заковылял по клавишам будущий сюрприз: "По разным странам я-а бродил, и мой сурок со мно-ою..."

Под эту музыку Анкудинов пересек государственную границу на удивление легко. В Туле он просто нанял возницу с подводой и без всяких сложностей добрался до Новгорода Северского, после Смуты отошедшего к Речи Посполитой. Здесь он объявил воеводе свое *подлинное имя*. Тут же его отвезли в Краков, к королю Владиславу.

Анкудинов рассказал полякам, что, когда в 1610 году Василия Шуйского свергли с престола, постригли в монахи и увезли в Польшу, ему, царевичу Ивану, не исполнилось и полугода. Чтобы спасти единственное чадо, родители втайне отдали младенца на воспитание верным людям. Сами они умерли в польском плену, а царевич вырос, возмужал и был предъявлен царю Михаилу Федоровичу. Благонравный молодой человек пришелся государю по душе. Юношу не казнили, не заточили в монастырь, однако держать его при дворе, где он мог быть втянут в какой-нибудь заговор, царь тоже не захотел. Ему присвоили княжеский титул, назначили наместником Перми Великой и отправили в почетную ссылку на берега Камы и Колвы. Несколько лет он, князь Шуйский, прожил в Чердыни, но, соскучившись в таежной глуши, самовольно возвратился в столицу. Это был опрометчивый поступок. Царь повелел заточить ослушника в тюрьму. К счастью, те же верные люди, которые его вырастили, подкупили стражу и помогли ему бежать в Северскую землю.

О Перми Великой он мог болтать что угодно, уличить его было некому. Даже в Москве плохо представляли себе этот дикий полунощный край, а в Кракове и подавно. Анкудинов повествовал о нем с таким вдохновением, что один краковский каноник, уроженец Флоренции, записал и сохранил для потомков его рассказы. Из них вырисовывается образ чудесной земли, где люди живут в шалашах из бересты, едят сырое мясо, но одеваются в меха, каким позавидовали бы все владыки мира. Пушного зверя им даже промышлять не надо, потому что каждый год под Рождество там бывает большая война соболей с горностаями, после нее на поле битвы остаются сотни павших бойцов, и охотнику остается лишь сдирать с них драгоценные шкурки.

Чуть ли не от сотворения мира идет в Перми Великой и другая, тоже вечная, война серых журавлей с тамошними пигмеями. Подобно кругу, не имеет она ни конца, ни начала. Карлики неустанно преследуют этих птиц, охотятся на них с камнями и саадаками, отслеживают их гнезда, бьют яйца, сворачивают шеи птенцам, а журавли нападают на своих врагов целыми стаями. Они оглушают и ослепляют их ударами крыльев, клювами протыкают шеи, выкалывают глаза или приносят в когтях горящие ветки, взятые на лесных пожарах, и сбрасывают на хижины этого малорослого племени. Что и когда они не поделили, остается загадкой. Карлики на такие вопросы не отвечают, журавли, само собой, тоже молчат. "Иной раз мнится, что ни те, ни другие сами того не знают", – закончил свою историю Анкудинов.

Как обнаружилось, "Илиаду" он не читал и не подозревал, что война журавлей с пигмеями описана еще у Гомера. Тем сильнее впечатлил каноника его рассказ. "Все услышанное мною от этого москвитя, – заметил он в своих записках, – заставляет думать, что *иные миры*, о которых говорил Демокрит, воистину существуют"
